

ПРОФ. М. П. АЛЕКСЕЕВ
ПУШКИН В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ВОПРОС об исторической роли Пушкина в мировой литературе нуждается в полном пересмотре. Дореволюционное пушкиноведение явно преуменьшало значение великого поэта в отдельных литературах Западной Европы. Вопрос о значении Пушкина во многих „малых“ литературах мира и вообще еще не ставился: мы почти не знаем о том, как к Пушкину относились западные писатели, критики, читатели. Услышали ли они его голос, преклонились ли, как и мы, перед его непревзойденными мастерством и глубиной его творчества, испытали ли на себе его огромную притягательную силу, или сквозь тусклые, обезображивающие переводы подивились его творчеству, как экзотическому цветку, сорванному на чужих, неведомых литературных полях? Вошел ли он, как равный, в семью великих европейских писателей XIX в., или его общеевропейская известность была лишь слабым отблеском его отечественной славы? Таковы вопросы, над которыми еще много придется поработать исследователям.

Материал для этого уже накопился большой, но разработка его едва начата. Как ни много еще остается сделать для того, чтобы все указанные вопросы получили отчетливость исследовательского итога, но для нас уже сейчас ясна ошибочность представления о том, что будто бы Пушкин был мало известен за пределами царской России. Такое представление должно быть категорически отвергнуто. Более того, необходимо признать, что передовые писатели и критики Западной Европы XIX века оценили в Пушкине писателя и человека, и многие из таких его сторон, которые стали особенно дороги народам Советского Союза после Октябрьской революции. Цензурные условия, при которых плохое изучение Пушкина в России XIX века, являлись одной из важных

причин того, что в русской литературе о Пушкине не были собраны и систематизированы многие замечательные суждения о нем виднейших зарубежных литературных деятелей этого века.

Имя Пушкина рано стало мелькать на страницах европейской периодической печати. Первые европейские отзывы о себе Пушкин прочел в начале двадцатых годов. В бумагах поэта нашлась переписанная его рукой заметка из парижского журнала „Энциклопедическое обозрение“ за 1821 г. Она имеет форму корреспонденции из Петербурга и говорит о «романтической поэме» „Руслан и Людмила“, обратившей на себя внимание всех друзей «словесности»: «она полна первостепенных красот; язык ее, то энергический, то грациозный, но всегда изящный и ясный, заставляет возлагать большие надежды на молодого автора». Вскоре Пушкин в девятом томе того же журнала прочитал о себе другую заметку, также анонимную, но, вероятно, другого автора. На этот раз о Пушкине говорится не как об авторе «романтической поэмы» с сюжетом из баснословных времен русской истории, а как о политическом поэте, затронувшем в своих стихах важнейшие вопросы русской общественно-политической жизни. Неизвестный автор упоминает, что Пушкин находится в ссылке, которая есть результат преследования поэта русской властью за его свободолюбивые стихи. «Александр Пушкин, этот юный питомец Аполлона», говорится в заметке, «является не только автором поэмы „Руслан и Людмила“, но также и „Оды к свободе“, полной одушевления, поэзии и возвышенных идей, и прелестного стихотворения под заглавием „Деревня“, в котором, дав восхитительную и верную картину красот природы и сельских забав, поэт скорбит о печальных следствиях рабства и варварства, высказывая в стихах, полных силы и энергии, светлую надежду на зарю свободы, которая воссияет для его родины».

Борьба на Западе за правильное истолкование Пушкина шла во многих отношениях свободнее и оживленнее, чем в русской периодической печати. Огромный интерес прижизненных критических статей европейской прессы о Пушкине заключается именно в том, что в них допускались суждения о таких вещах, о каких в России могли говорить только вполголоса. Хотя и „Вольность“ и „Деревня“ в рукописных списках были широко известны не только в Петербурге, но и на Юге, и большинство современников поэта знало о действительных причинах его удаления из столицы, но все же первое печатное известие об этих стихотворениях с недвусмысленным указанием на причину высылки Пушкина из столицы, и к тому же помещен-

ное в очень влиятельном и распространенном парижском журнале, произвело свое впечатление. Оно закрепило за Пушкиным определенную политическую репутацию. Именно подобные европейские отзывы, в первую очередь французские и английские, и поддерживали в правящих кругах Петербурга представление о Пушкине как об очень политически опасном поэте.

Пушкин знал большинство этих отзывов и внимательно следил за своей возрастающей известностью. Еще в Одессе он познакомился с „Русской антологией“ Эмиля Дюпре де-Сен Мора, изданной в Париже в 1823 г., и с рядом откликов на нее в европейской и русской печати. В этой книге был напечатан эпизод из первой песни „Руслана и Людмилы“ во французском переводе, сопровождаемый биографическими данными о Пушкине и разбором двух его поэм. Тогда же Пушкин прочитал о себе и в немецкой антологии русской поэзии Карла Фридриха Борга, изданной в Дерпте в 1823 г., затем через посредство А. А. Дельвига получил „Кавказский пленник“ в немецком переводе А. Вульфберта. Этот перевод вместе с русским подлинником в 1824 г. напечатал в Петербурге Е. Ольдекоп, нарушив этим самым авторские права Пушкина и лишив его возможности осуществить новое издание поэмы. Эта контрафакция вызвала несколько отзывов в иностранной печати, очень заинтересовавших Пушкина. В ноябре 1824 г. он просил своего брата прислать ему «немецкую критику» на эту поэму.

Французские и английские журналы двадцатых годов представляли для Пушкина гораздо больший интерес, чем немецкие. О последних еще Бестужев говорил в „Полярной Звезде“ (1825), что они живут перепечатками из немецких журналов, выходящих в России. Другое дело — английские и французские органы либеральной буржуазной прессы. Они интересовались не только русской литературой, но и той сложной общественной борьбой, которая происходила в России; обсуждали декабризм, внимательно следили за всеми признаками общественного недовольства, из какой бы среды русского общества оно ни исходило; с ненавистью относились к русскому самодержавию как оплоту европейской реакции и с тревогой следили за внешней политикой России, в частности в восточном вопросе.

Одним из таких журналов было парижское „Энциклопедическое обозрение“ Сен-Жюльена, очень популярное в России и служившее образцом для „Московского телеграфа“. Из этого журнала русские литераторы черпали материалы в изобилии. В нем попрежнему много

и охотно писали о Пушкине и об его произведениях, обнаруживая прекрасную осведомленность даже в личных делах поэта. Так, журнал известил своих читателей о новой поэме Пушкина „Цыганы“, которая еще не была опубликована в России, привел сообщение о сумме гонорара, полученного Пушкиным за „Бахчисарайский фонтан“, и поместил хвалебную рецензию на французский перевод этой поэмы, сделанный Шопеном. Эту хвалебную рецензию Ф. Р. Булгарин тотчас же перепечатал в „Северной пчеле“. Как видно, за „Энциклопедическим обозрением“ в России следили очень внимательно. О роли этого органа в истории русской журналистики писал еще Белинский.

Тем интереснее теперь для нас знать те западноевропейские отзывы о Пушкине, которые русская печать должна была обходить полным молчанием. Сошлемся в качестве примера на один отзыв из тридцать четвертого тома „Энциклопедического обозрения“ за 1827 г. Рецензируя „Стихотворения“ Пушкина, вышедшие отдельной книгой в 1826 г., критик, скрывшийся под буквою „V“, пишет: «прекрасная книга Пушкина имеет лишь один недостаток — это неполноту. В ней не достает тех многих и лучших стихотворений, которые стоили поэту многолетней ссылки, мы хотим сказать: „Оды к свободе“, „Деревня“ и нескольких „посланий“. Мало того, критик издевается над подозрительностью русской цензуры, которую, конечно, испугало самое название „Ода к свободе“, но которая все же разрешила напечатать другие стихотворения, не менее подозрительные, например, конец послания „Лицинию“, „Андрей Шенье“ и „Птичка“. В последнем стихотворении, по словам того же критика, поэт дарует свободу птичке при наступлении весны и восклицает радостно: «За что на бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать» — ясный намек на освобождение рабов. Во втором он заставляет Андрея Шенье с мужественной силой говорить против деспотизма, на самом деле эти стихи направлены против режима террора, цензоры подозрительны, а применить стихи легко. Ирония этого отзыва по отношению к русской цензуре не менее замечательна, чем осведомленность его автора: дело в том, что все названные здесь стихотворения имели длинную цензурную историю, продолжавшуюся и после их первого появления в печати. Так, элегия „Андрей Шенье“ возбудила целое дело, следствие по которому не только не было закончено к моменту появления в свет названного французского журнала, но даже осложнилось в связи с его выходом, и, как известно, оно было прекращено Государственным советом лишь

в июле 1828 г. и закончилось постановлением: учредить за Пушкиным секретный надзор.

Иностранцы-путешественники (французы и англичане), побывавшие в России, и, печатая рассказы о Пушкине в своих путевых воспоминаниях, нимало не стеснялись в разоблачении истинных отношений Пушкина к русскому правительству. Например: англичанин Э. Мортон, побывавший в России в 1827—1829 гг. и слышавший о Пушкине, упоминает о нем прежде всего как об авторе „Оды к свободе“, за которую поэт будто бы был сослан в Сибирь; другой англичанин, Гренвиль (1828), дает более сдержанный и достоверный отзыв, но и в нем говорится о неудовольствии, которое поэт возбудил у царя своими пламенными революционными стихами.

Из всех отзывов этого рода в особенности один несомненно вызвал серьезное волнение Пушкина. В 1826 г. в Россию приехал французский писатель Ансло. Пушкин, своевременно предупрежденный о том, что заезжему гостю готовится в Петербурге торжественная встреча, просил П. А. Вяземского: «овладей этим Lancelat (которого я ни стишка не помню) и не пускай его по кабакам отечественной словесности. Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда»...

Пушкину делается досадно, что иностранные путешественники зачастую становятся свидетелями унижительных явлений российской действительности, — рабства и барского самодурства в первую очередь: «Русский барин кричит: мальчик! забавляй Гекторку (барского кобеля). Мы хохочем и переводим эти барские слова любопытному путешественнику», — говорит Пушкин. «Все это попадает в его журнал и печатается в Европе — это мерзко». «Овладеть» Ансло Вяземскому не удалось. Будучи легкомысленным поверхностным наблюдателем, Ансло многое понял превратно, сделал ряд слишком поспешных выводов. Тем не менее он довольно верно подметил многие противоречия русской жизни и, между прочим, дал оценку русской литературе. Все это было изложено им в книге „Шесть месяцев в России“, выпущенной в 1827 г. В легком очерке о русской литературе Ансло сочувственно упоминает о Пушкине; в другом месте книги он высказывает сожаление, что на обеде, данном в его честь петербургскими литераторами, он не видел «молодого и талантливого поэта» Пушкина, «тяжкие промахи» которого были причиной его изгнания в глубь отдаленной губернии. В качестве образца пушкинской поэзии Ансло не задумался поместить прозаический перевод „Кинжала“, указав, что ему не без труда удалось раздобыть список

этого неизданного стихотворения, которое отличается «республиканским фанатизмом» и может служить примером идей, бродящих в умах русской молодежи. Эти идеи, по словам Ансло, «могли бы привести к преступлению целое поколение», если бы не «мудрость монарха», установившего такую правительственную систему, которая «умеряет общественную экзальтацию». Легко представить себе, как взволновали Пушкина эти строки. Вспомним известный отзыв его о книге Ансло в „Северных цветах“ за 1828 г.: «Путешественник Ансло говорит о какой-то грамматике, утвердившей правила нашего языка и еще неизданной, о каком-то русском романе, прославившем автора и еще находящемся в рукописи, о какой-то комедии, лучшей из всего русского театра и еще неигранной и ненапечатанной. Забавная словесность». В этих словах Пушкина сквозит и действительное сожаление о бедности русской литературы, подмеченной иностранным наблюдателем, и замаскированный упрек иностранцу за опубликование перевода *ненапечатанного* в России „Кинжала“. Три года спустя Пушкин не смог обойти вниманием книгу Фонтанье — „Путешествия на восток“ (1829), содержащей ироническое суждение о «сюжете не поэмы, а сатиры», который Пушкин будто бы нашел во время своего пребывания в действующей армии на Кавказе. Именно этой книгой вызвано, как известно, и самое создание и опубликование „Путешествия в Арзрум“.

К началу тридцатых годов европейская литература о Пушкине стала настолько обильной, что следить за ней ему становилось труднее и тем более отвечать на мелкие выпады или нескромные разоблачения европейских журналистов.

Появление „Полтавы“ также было замечено на Западе и вызвало в 1832 г. большую английскую статью с заголовком „Пушкин и Рылеев“, много раз повторенным в ее разделах. В ней „Полтава“ сопоставлена с „Войнаровским“ („Фореин Куортерли Ревью“, 1832).

Уезжавшие из России иностранцы увозили с собой то личные воспоминания о поэте, то легенды о нем, слышанные в Петербурге и Москве, а русские путешественники разносили по всем странам Европы устные рассказы о его поэтической славе. Многие близкие друзья Пушкина, бывавшие за границей, заботились и об улучшении качества переводов его произведений. Через русских путешественников многие писатели Западной Европы знакомились с Пушкиным еще при его жизни.

Английский писатель Джордж Борроу, живший в России (1833—1835) и очень много путешествовавший по странам Европы и, в част.

ности проведенный несколько лет среди испанских цыган, в 1835 г. перевел из поэмы Пушкина „Цыганы“ песнь „Старый муж, грозный муж“. Борроу восторженно отзывался о „Цыганах“, часто перечитывал их и всегда с чувством восхищения отзывался о Пушкине. Об этой поэме и о верности ее этнографического колорита Борроу говорит в своих книгах, посвященных цыганам, и в романах, описывающих приключения и тревоги его страннической жизни. В позднем романе Борроу „Лавенгро“ герой бежит от наскучившего ему цивилизованного мира в цыганский табор Шотландии, странствует с ним, но принужден его оставить, потому что оказывается чуждым цыганской идеально-анархической общине. В этом романе нетрудно обнаружить влияние пушкинских „Цыган“. В первый год путешествия по Испании (1836) Борроу, с нежностью и любовью вспоминая о своем пребывании в России, как о счастливейшем времени своей жизни, пожелал иметь подлинный автограф Пушкина. Он обратился с просьбой об этом к своему другу датчанину Джону Хасфельдту в Петербурге. В одном из неизданных писем Борроу к Хасфельдту из Мадрида от 23 мая 1836 г., хранящемся в Ленинградской публичной библиотеке, есть следующие строки: «Вот уже несколько дней, как я получил от Вас два письма с автографами Пушкина и Жуковского; сердечно благодарю Вас за беспокойство, которое Вы себе причинили, добывая их для меня». Эти неизвестные нам автографы Пушкина, надо надеяться, и теперь хранятся в огромном архиве Борроу, публикация которого еще далеко не закончена.

Не менее показателен другой пример интереса к Пушкину иностранного литератора. В бумагах В. А. Жуковского, хранящихся в «Пушкинском доме», находится связка ненапечатанных писем к Жуковскому Антона Дитриха (1828—1835). Врач психиатр по профессии, Дитрих был любителем поэзии и искусства, писал стихи и занимался переводами. Случайно попавший в Россию в качестве врача поэта К. Н. Батюшкова, Дитрих выучился русскому языку, приобрел много друзей и познакомился с виднейшими представителями русской литературы — Пушкиным, П. А. Вяземским, Жуковским. По возвращении в Германию Дитрих много трудился над переводами русских поэтов. В большом и содержательном письме Дитриха к Жуковскому из г. Пирны (близ Дрездена) от 15 ноября 1830 г. автор сожалеет, что: «Пушкин был, к сожалению, слишком занят в Москве мыслями о женитьбе и поэтому не исполнил своего обещания послать мне свои стихотворения; для покупки же их у бедного немца не было денег». Очень вероятно, что Дитрих вспоминал

о Пушкине и в беседах своих с Гёте, Яковом Гриммом, Тиком, Уландом и другими своими немецкими знакомцами.

Интерес Пушкина к иностранной критике вызывался различными причинами. Во-первых, надеждой на справедливую, заслуженную оценку крупнейших русских писателей и, в частности, его творчества и любопытством к европейскому суждению, не стесненному российской цензурой, и к европейской литературе вообще. Во-вторых, Пушкину необходимо было знать отзывы о себе европейской печати еще и потому, что некоторые из них затрагивали его личные интересы, вторгаясь в интимные стороны его жизни, или же грозили осложнениями отношений к нему русских властей. Вспомним характерные слова Пушкина в письме П. А. Плетневу, написанном тотчас по выходе в свет „Бориса Годунова“ (7 января 1831 г.): «Жду переводов и суда немцев, а о французах не забочусь: они будут искать в Борисе политических применений к варшавскому бунту и скажут мне, как наши: «помилуйте-с».

Однако Пушкину очень и очень приходилось «заботиться» об этих критических отзывах, ибо они разглашали то, о чем знали лишь близкие друзья поэта, и о чем он вовсе не намерен был доводить до сведения николаевских жандармов.

О том, что Пушкин интересовался европейскими суждениями о себе, как о поэте и человеке, свидетельствует и его библиотека. Помимо указанных выше книг Ансло, Фонтанье и т. д., в ней было немало других изданий, в которых упоминалось имя Пушкина; так, например, на полках этой библиотеки находились: „Энциклопедический лексикон“ лейпцигского издания Брокгауза (1830), в восьмом томе которого была помещена довольно обстоятельная, но со многими ошибками биография «графа Александра Пушкина, гениального русского поэта»; итальянский перевод „Кавказского пленника“, сделанный неким Антонио Роккиджани в неаполитанском издании 1834 г.; изданная в Петербурге книга Джорджа Борроу „Таргум“ (1835), содержащая в себе первые английские переводы „Черной шали“, песни из „Цыган“, и некоторые другие. Большинство переводов своих произведений на различные языки, изданные в пределах России, Пушкину были несомненно известны. В розысках всех этих разнообразных источников Пушкину оказывали существенную помощь его близкие друзья — П. А. Вяземский, С. А. Соболевский, в особенности же А. И. Тургенев, этот неутомимый странствователь по Европе, лично знавший Гёте, Вальтера Скотта, Ламартина и многих других западноевропейских знаменитостей среди

литераторов, научных и политических деятелей. О том, как увеличилась европейская известность Пушкина, ему рассказывал П. Я. Чаадаев в своем письме из Москвы в 1829 г. «Последнее время везде стали читать по-русски, вы знаете, что и Булгарин переведен и поставлен рядом с Жуи, что касается вас, то нет ни одной книжки, в которой бы не шла о вас речь...».

По рассказам П. В. Нащекина, записанным со слов его друга П. И. Бартенева, «великий Гёте, разговорившись с одним путешественником о России и слыша о Пушкине, сказал: «Передайте моему собрату, вот мое перо». Долгое время достоверность этого рассказа оспаривалась, однако, сейчас вопрос можно считать решенным: мы можем назвать того русского путешественника, который вел с Гёте беседу о Пушкине. Беседа произошла в сентябре 1827 г., собеседником Гёте был В. А. Жуковский; он и привез Пушкину то перо, о котором рассказывает П. В. Нащекин. Все это подтверждается письмом пианистки Марии Шимановской к канцлеру фон-Мюллеру. Гораздо труднее решить, знал ли Гёте какие-либо произведения Пушкина. Немецкие переводы из Пушкина к 1827 г. были еще малочисленны. По воспоминаниям С. П. Шевырева, относящимся к 1829 г., невестка Гёте Оттилия уже знала в это время „Кавказского пленника“ в переводе А. Вульфберта; мог эту книгу знать и великий создатель „Фауста“, но достоверно известно, что Гёте читал изданную в Марселе на французском языке книжечку Элима Мещерского „О русской литературе“ (1830), в которой Пушкину уделено значительное место, и кроме того он мог слышать о Пушкине от многих русских путешественников. Тот же С. П. Шевырев послужил посредником в ознакомлении с Пушкиным видного итальянского писателя Александро Манцони. Пушкин интересовался этим писателем; роман Манцони „Обрученные“ (1827) он читал во французском переводе около 1830 г. и очень им восхищался. Два года спустя, будучи в Италии, С. П. Шевырев познакомился с Манцони и беседовал с ним о Пушкине, о чем писал С. А. Соболевскому из Милана 20 февраля 1832 г.: «Вчера познакомился с Манцони. Желает узнать кое-что о русской литературе, называл мне Пушкина и Козлова». Любопытные данные находим также в письме А. И. Тургенева из Парижа (1836) к П. А. Вяземскому: «Вчера провел я первый вечер у Ламартина. Он просит у меня стихов Пушкина в прозе; стихов переводных не хочет. Я заказал сегодня графу Шувалову перевести, но еще не остановился на выборе пьесы». А. И. Тургенев, столь хорошо известный в литературных кругах Европы, не раз со-

действовал ознакомлению с Пушкиным своих многочисленных западных друзей.

Н. А. Мельгунов писал С. П. Шевыреву из Франкфурта-на-Майне в марте 1837 г. о впечатлении, произведенном смертью Пушкина: «в течение двух или трех недель все газеты, немецкие и французские, были им полны, так что иное я, может быть, знаю обстоятельнее, чем вы». Эти слова справедливы. Если в русской периодической печати смерть Пушкина замалчивалась, то в иностранных газетах и журналах истории дуэли и его смерти было уделено значительное внимание. Правда, западная пресса интересовалась событием прежде всего как крупным великосветским скандалом, но вместе с тем многие статьи и корреспонденции давали высокую оценку творчества трагически погибшего поэта. Ряд этих статей был сочувственно встречен в России, — в кругах, близких к Пушкину. А. С. Хомяков, например, писал Н. М. Языкову в июне 1837 г.: «Говорят, что иностранные газеты писали о Пушкине хорошо и много; не знаю, правда ли, а это было бы утешительно». Впрочем, тут же Хомяков прибавлял, что «Франкфуртский журнал говорил о нем скверно, и это весело, как ругательство Булгарина»... Хомяков, очевидно, имел в виду небольшой некролог о Пушкине, помещенный в „Journal de Francfort“ (1837), выписка из которого сохранилась, между прочим, в бумагах С. Л. Пушкина — отца поэта. В некрологе говорится о сенсации, которую в Петербурге произвела смерть «знаменитого русского поэта Пушкина», упоминается, что он сделался «неизбежной» жертвой тех «несчастных предрассудков относительно чести», которые господствуют в обществе; и далее в весьма почтительных выражениях рассказывается о «заботах» императора относительно семьи поэта. Все это, однако, нисколько не объясняет злобного «веселья» Хомякова и его язвительной ссылки на Булгарина. Разгадку этого следует искать, повидимому, в том, что „Journal de Francfort“ служил в руках русского правительства средством воздействия на европейское общественное мнение и помещал на своих страницах статьи и сообщения, продиктованные из Петербурга или же непосредственно написанные русскими чиновниками. Об этом знал, вероятно, и Хомяков. Здесь следует вспомнить, что еще в 1834 г. Пушкин был сильно взволнован листком этой самой газеты, присланным ему Г. А. Строгановым. В листке была помещена статья, — нужно думать внушенная из Петербурга, — представляющая собою резкую и бестактную защиту Пушкина против «выдумки» польского патриота и историка И. Лелевеля, приписавшего поэту какие-то антиправительственные

строфы. Как известно, Пушкин не только отметил это в своем дневнике (11 апреля 1834 г.), но и переписал себе взволновавшую его статью. На этот раз франкфуртский журнал в некрологе о Пушкине говорил больше о «милостях» Николая, чем о самом поэте, и это, конечно, доказывает связь этого органа с русским правительством. Другие, заметки и статьи, помещенные в иностранной прессе, французской и английской, больше уделяли внимания причинам дуэли и определеннее называли истинных виновников гибели Пушкина.

В числе европейских литераторов, откликнувшихся на смерть Пушкина, было несколько лиц, лично его знавших. Так, в парижской газете „Время“ („Temps“) появилась статья, автор которой знаком был с Пушкиным по Кишиневу и Одессе; в парижском „Journal des Débats“, за первые месяцы 1837 г., среди четырех фельетонов, посвященных Пушкину, один принадлежит Леве-Веймару, который близко познакомился с поэтом при своем посещении Петербурга в июне—июле 1836 г. Как известно, именно для этого французского писателя Пушкин незадолго до своей смерти перевел на французский язык несколько русских народных песен.

Фельетон Леве-Веймара, написанный в теплых лирических тонах, обратил на себя внимание друзей Пушкина. Они, повидимому, собирались перевести фельетон на русский язык и напечатать его в одном из журналов, но к этому встретились затруднения. П. А. Вяземский горько жаловался на запрет русским писать о Пушкине и вспоминал о фельетоне Леве-Веймара: «С Пушкиным точно то, что с Пугачевым, которого память велено было предать забвению. Статья в „Журнале дебатов“ Леве-Веймара не пропущена, хотя она довольно справедлива и писана с доброжелательством, а клеветы пропускаются».

Смерть Пушкина нашла отклик и в ежемесячных «толстых» журналах. Так, в парижском „Revue des Deux Mondes“ появилась обширная не подписанная статья „Пушкин“ (автором ее является Шарль Бодье), в которой русский поэт сопоставляется с крупнейшими писателями Запада, с Байроном в первую очередь; Пушкин, говорится в статье, принадлежал к числу тех людей, которые напоминают «могучие дубы, возросшие на горных высотах; они ищут бури, для того чтобы показать нам, как глубоки корни их и как непоколебимы их вершины»; в Пушкине-человеке и поэте многое восхищает французского критика, и он, не оговариваясь, предсказывает пушкинским стихам бессмертие.

Вскоре в Париже в журнале „Глобус“ („Le globe“) от 25 мая 1837 г. за подписью „Друг Пушкина“ появилась статья Адама Мицкевича, полная искреннего горя, восхищения и преклонения перед величайшим из русских поэтов. Мицкевич пишет: «если бы не существовало произведений Байрона, то Пушкин был бы провозглашен первым поэтом своего времени». Говоря так, Мицкевич выражал не только свое личное мнение; в донесениях европейских дипломатов из России, в письмах западных писателей 1837 г. то и дело мелькают отзывы о Пушкине, в которых он приравнивается к крупнейшим писателям своего века.

«С печалью услышал я о смерти Пушкина, — пишет Дж. Борроу из Лондона, — поистине это потеря не только для России, но и для всего мира». Еще три года спустя Борроу напоминает своему петербургскому корреспонденту (18 июля 1841 г.): «Когда будете мне писать, не забудьте о положении литературы в России; нашелся ли кто-нибудь, чтобы заменить бедного Пушкина. Думаю, что нет; такие люди не появляются в каждом году»...

Смерть Пушкина усилила внимание к нему европейских читателей. На Западе начали появляться цельные, продуманные и более подробные характеристики русского поэта, на первых порах значительно обязанные его русским почитателям, путешественникам, общавшимся с представителями литературы Западной Европы. Н. А. Мельгунов рассказывает в своей брошюре „История одной книги“: «В начале 1837 г. я жил по болезни в Ганау, небольшом городке близ Франкфурта-на-Майне. В числе навещавших меня знакомых был также и г. Кениг, известный немецкий литератор. Смерть Пушкина, случившаяся в это время, сильно настроила немцев на литературу русскую. Г. Кениг желал узнать некоторые подробности о жизни и сочинениях Пушкина. Отметив на бумаге слышанное от меня и дополнив изустные известия печатными из немецких и французских журналов, он составил впоследствии статью, которая была помещена им в одном периодическом издании». Вскоре эта статья в обработанном виде составила центральную главу книги Кенига „Русские литературные очерки“ („Literarische Bilder aus Russland“), вышедшей в Штуттгарте в том же 1837 г. (с портретом Пушкина). Кениг дает в этой статье биографию Пушкина, останавливается на южных поэмах — „Борисе Годунове“, „Полтаве“ и т. д., сопровождая их пересказ критическими замечаниями, и одновременно говорит о таких произведениях, о которых он мог слышать только от своего русского собеседника, например о „Гавриладице“. Кениг особенно

высоко оценивает „Бориса Годунова“, очень хорошо отзывается о „Полтаве“ и прозе Пушкина, приходя к заключению, что русский поэт с большой проникательностью постиг и особенности национального языка и, главное, глубже своих предшественников заглянул в русскую жизнь. «Изучив сказки, песни, обычаи и поговорки своей страны, он своей фантазией созидал не какие-нибудь воздушные существа, ... он искал образов в истории и в текущей жизни народной». Пушкин, по мнению Кенига, подобно Гёте в Германии, «первый стал на твердую почву поэзии и творил не субъективные, а объективно-истинные образы, заимствуя их из прошедшего и настоящего».

Книга Кенига имела большой успех не только на Западе, но и в России. Она была переведена на французский, чешский и голландский языки.

Известно, что Варнгаген фон-Энзе принялся за изучение Пушкина под значительным влиянием книги Кенига. Для того чтобы заниматься Пушкиным, Варнгаген изучает русский язык и читает его произведения в подлиннике. В 1838 г. он публикует свою известную статью о его творчестве, в которой упоминает и о сочинении Кенига: «Здесь в первый раз, — пишет он, — представилось нашим взорам богатство новейшей русской литературы... Количество и разнообразие ее поразили нас. Пробудился шум, пробудилось общее участие... Нашлись любители, даже между дамами, особенно в Берлине, которые тогда же принялись за изучение русского языка, а внук Гёте пишет оперу из поэмы Пушкина „Цыганы“».

Значение книги Кенига для правильной оценки русской литературной борьбы вокруг Пушкина и для истолкования творчества поэта неоспоримо. Другие источники, вроде „Учебной книги о русской литературе“ Фридриха Отто, представляющей собою почти сплошной перевод полуофициального русского руководства Н. И. Греча „Опыт русской литературы“ (1822), были совершенно неудовлетворительны, и что всего важнее, совершенно неправильно ориентировали европейских читателей об общественно-литературных боях в России. Характерны высказывания о книге Кенига русских литераторов. В. Ф. Одоевский, например, просил Я. М. Неверова лично поблагодарить Кенига «за русскую литературу», о которой до сих пор знали в Европе только по „Выжигину“ (роман Булгарина) с компанией. «Эта компания взбесилась, узнавши, что ее вывели на свежую воду, несмотря на все ее штуки и интриги, и печатают об этой книге чорт знает что». «К сожалению, книги Кенига нет в России и, вероятно, не будет, — писал Одоевский, — потому что, как я слышал, в ней

есть вещи касательно Пушкина и Булгарина (какое соединение!), которые не могут быть позволены в России». Опасение Одоевского оправдалось: в переводе на русский язык „Очерки русской литературы“ Кенига появились только 25 лет спустя.

Быть может, отчасти под влиянием Кенига, впервые писавшего на немецком языке об „Истории Пугачева“, один из вождей „Молодой Германии“ и неустанный борец с прусской реакцией Карл Гутцков (1811—1878) по следам Пушкина написал свою драму „Пугачев“ (1844). Известно, впрочем, что главным источником для Гутцкова служил вышедший в Штуттгарте (1840) немецкий перевод пушкинской „Истории Пугачева“ А. Брандейса.

Сильно сокращенный А. Брандейсом перевод пушкинского труда, конечно, не мог дать Гутцкову всех необходимых исторических данных о русском крестьянском движении начала семидесятых годов XVIII в., и он, отчасти следуя Пушкину, сосредоточил все внимание на личной судьбе Пугачева. Другим источником его пьесы были многочисленные немецкие драмы о Дмитрие Самозванце, выросшие из шиллеровского фрагмента и отчасти из пушкинского же „Бориса Годунова“, который к началу сороковых годов уже был известен в Германии. На помощь Гутцкову мог прийти здесь и Кениг, который в своей книге, касаясь „Пугачевского бунта“, перечисляет «политических обманщиков в русской истории», начиная от Лжедмитрия, и называет Пугачева «последним из самозванцев», впрочем оговариваясь, что Пугачев «не был простым разбойником», «в политическом отношении он есть явление замечательное».

В пьесе Гутцкова имя Петра III достается Пугачеву случайно, по жребью, в ту минуту, когда для угнетенного и закрепощенного народа все равно, кто бы ни был царь, лишь бы им было лицо, под знаменем которого можно было бы начать восстание; Пугачев представлен «благородным энтузиастом свободы; он готовится пожертвовать собою ради народного блага, но эта жертва оказывается выше его сил: он не в состоянии переродиться в царя».

О том, как высоко стояло имя Пушкина в кругах немецкой либеральной интеллигенции, можно судить из следующего эпизода. В 1837 г. в „Альманах муз“, редактировавшийся Шамиссо, поэт Гоффман фон-Фаллерслебен прислал стихотворение „Убитый рыцарь“ („Der erschlagene Ritter“), по сюжету своему очень близкое к пушкинской балладе „Два ворона“, причем источник стихотворения не указал. Предполагая, что Фаллерслебен просто перевел Пушкина, но скрыл его имя, Шамиссо был искренне возмущен. Он немедленно

обратился в Варнгагену фон-Энзе с просьбой доставить ему построчный прозаический перевод пушкинской баллады. «Может ли слабая трость не быть только лишь тенью пушкинской могучей зелени, если она произросла от одного с ним корня», — спрашивает при этом Шамиссо. Получив вскоре построчник, Шамиссо уже 6 августа 1838 г. послал Варнгагену свою стихотворную обработку этого произведения, которая затем была напечатана в полном собрании его сочинений с подзаголовком „Из Пушкина“ и которая, по своим достоинствам, значительно превосходит другие немецкие переводы этого стихотворения. Нам известно также, что Шамиссо хотел поместить свой перевод в „Альманахе муз“ рядом со стихотворением Фаллерслебена и тем самым уязвить последнего указанием на свой источник. Но смерть Шамиссо помешала исполнению этого намерения. Его собственный перевод был напечатан в „Альманахе муз“ только в 1839 г., а стихотворение Фаллерслебена появилось в другом журнале. Фаллерслебен, однако, молчал и после того как была опубликована переписка об „Убитом рыцаре“ между Шамиссо и Варнгагеном, и лишь в 1854 г. редакционная заметка одного журнала, написанная со слов Фаллерслебена и, вероятно, по его полномочию, разъясняла читателям, что стихотворение „Убитый рыцарь“ написано было автором в 1837 г. «на сюжет русской народной песни, переданной ему одним из его русских знакомых» и что «о настоящем источнике» (т. е. о Пушкине) он узнал лишь впоследствии от Шамиссо. Любопытнее всего то, что никто из споривших ни разу не упомянул, что баллада Пушкина довольно близко передает шотландскую балладу в записи Вальтера Скотта и что перевод этого источника Пушкина был уже давно известен в немецкой литературе.

В отношении к Пушкину немецких писателей конца тридцатых годов наметилось несколько точек зрения, порою исключавших друг друга, но характерно отражавших сложную общественную борьбу, происходившую в эти годы в Германии. На всех этих разноречивых толках о Пушкине сказывалось недостаточное знание его творчества, о котором имелось представление лишь по искаженным немногочисленным, скверно выполненным немецким переводам и по оценке бойких журналистов, использовавших налету схваченные газетные сплетни о поэте и по-своему их интерпретировавших. Задачу истолковать Пушкина на основании изучения подлинного русского текста взял на себя Варнгаген фон-Энзе, побужденный к этому выходом первых трех томов посмертного полного собрания сочинений Пушкина. Варнгаген фон-Энзе был хорошо известен в России в конце тридцатых

годов, отчасти благодаря кружку Н. В. Станкевича, к которому он был довольно близок. Особенно подкупило учившихся в Германии молодых русских друзей Варнгагена его глубокое уважение к Пушкину, превратившееся в настоящее пушкинофильство.

Большая статья Варнгагена фон-Энзе о Пушкине появилась в журнале „Ежегодник научной критики“, основанном Гегелем. Эта статья была восторженно встречена в России, перевод ее появился в двух русских журналах 1839 г. и усиленно обсуждался и в Петербурге, и в Москве. В западной литературе эта статья также произвела большое впечатление. В сравнении с очерком Кенига, она давала неизмеримо больше и по глубине понимания Пушкина и по полноте его характеристики. Варнгаген говорил в ней почти о всех произведениях Пушкина, напечатанных в трех томах посмертного издания. По его мнению, творчество Пушкина содержит главные черты его величайших европейских современников, но в соответственной обработке, исключая всякие обвинения в подражании западным образцам. Всякий крупный поэт служит своего рода посредником между «природной поэзией народа» и «международным успехом» данной национальной литературы; такая поэзия явилась в новейшее время в России: «чистейшее и спокойнейшее ее выражение находим мы в Пушкине. Сколько ни были бы многочисленны и разнообразны его предшественники и последователи, толпящиеся вокруг Пушкина, но он возвышается, как глава, над всеми, и все, так сказать, соединяются в нем». Далее в статье Варнгагена говорится, что всякий занимающийся Пушкиным испытывает особую «воодушевляющую и живительную силу». Варнгаген считает Пушкина самым национальным из русских поэтов по всеобъемлющему размаху его творчества: «Ему все одинаково известно, Юг и Север, Европа и Азия, дикость и утонченность, древность и современность, изображая разнообразнейшее, изображает он тем отечественное». Статья Варнгагена увлекает; в ней есть философские горизонты и чувствуется искреннее, не надуманное восхищение. Многих людей Запада она захватила взволнованностью и энтузиазмом. В их числе был Томас Карлейль. Известный английский мыслитель пишет Варнгагену в 1842 г.: «Мы должны быть вам благодарны, я в первую очередь, за то, что вы дали нам в первый раз представление о дикой поэтической душе Пушкина; я должен был себе сказать: да, это гениальный русский; первый раз я постигаю русских людей».

К началу сороковых годов начинают заниматься Пушкиным многие другие немецкие поэты. Поэт Иоганн-Август Метлеркамп,

долго живший в Харькове, опубликовал, по возвращении в Гамбург, в гамбургском журнале Георга Лотца „Originalien aus dem Gebiete der Wahrheit, Kunst, Laune und Phantasie“ за 1840 г. свой полный перевод „Модарта и Сальери“. В его же переводе несколько мелких стихотворений Пушкина вошло позже в сборник Метлеркампа „Песни ласточки“ („Liederschwalben“, Braunschweig, 1846). К тому же времени относится переводческая деятельность Роберта Липперта, возвращавшегося некоторое время в кругу петербургских литераторов и лиц, близких к Пушкину. По книге Липперта знакомится с Пушкиным Виктор Ген, тогда еще не знавший русского языка, будущий историк литературы и исследователь Гёте. Т. Шиман опубликовал из берлинского дневника Гена (ноябрь 1840) его большой этюд о Пушкине, навеянный чтением „Евгения Онегина“. По Липпертовским же переводам впервые знакомятся с Пушкиным и за пределами Германии, в странах, где была распространена немецкая речь. Именно по этим переводам через посредство Я. К. Грота узнал Пушкина финно-шведский поэт, национальный поэт Финляндии и родоначальник реалистического направления в шведской литературе Иоганн Людвиг Рунеберг. «Я вручил Рунебергу Пушкина, — рассказывает Я. К. Грот, — уже переплетенного и с моею надписью. Это доставило ему много удовольствия».

Затем начал работать над Пушкиным Фридрих Боденштедт (1819—1887). Как известно, Боденштедт приехал в Москву в 1841 г. и провел в ней около трех лет. Первые переводы из Пушкина были им изданы в Лейпциге в 1843 г. По отзыву самого автора, книга его переводов была мало удовлетворительной; впоследствии он сам тщательно ее разыскивал, скупал и уничтожал, «а между тем, — пишет он, — несмотря на многочисленные искажения, книга эта встретила большой успех, нежели я мог ожидать. Ее не только расхвалили в немецких газетах, но и А. И. Герцен отозвался о ней в таком тоне, как будто переводы мои были образцовые». Работу над Пушкиным Боденштедт не покидал и в годы своих странствований. Наконец, в 1854—1855 гг. он выпустил три тома своих переводов из Пушкина. Это издание вызвало много откликов в немецкой, русской и английской печати, но расходилась книга гораздо медленнее, чем его первая, неудовлетворительная. Разделяющее обе книги десятилетие было периодом ослабления интереса к русской литературе в Германии. Однако интерес самого Боденштедта к Пушкину нисколько не уменьшился. Живя в Мюнхене, Боденштедт написал свою трагедию „Димитрий“ (Berlin, 1856), навеянную „Борисом Годуновым“. Поводом к этому

послужило следующее любопытное обстоятельство: король баварский Максимилиан II захотел поставить „Бориса Годунова“ в своем придворном театре в Мюнхене и обратился за помощью к Боденштедту; последний нашел пушкинскую драму не сценичной и написал своего „Димитрия“ по тексту Пушкина, истолковав сюжет с собственной точки зрения. В 1887 г. М. И. Семевский, навестивший Боденштедта в Висбадене, видел у него множество изданий Пушкина. «В настоящее время, — пишет он, — т. е. более сорока лет спустя после возвращения из России, Боденштедт декламирует по-русски на память отдельные строфы из „Евгения Онегина“, свободно читает по-русски».

Английский журналист Джеймс Бейкер, видевшийся с Боденштедтом в то время, рассказывает, что их беседа велась, главным образом, о Пушкине. Боденштедт вспоминал о своей жизни в России, цитировал наизусть длинные отрывки из произведений Пушкина, Байрона и Шекспира и, наконец, подробно рассказал ему историю дуэли со слов секунданта Пушкина — Данзаса. Усвоение Пушкина в немецких землях шло непрерывно, то ослабевая, то усиливаясь в юбилейные годы. Новый подъем интереса к Пушкину в Германии возобновился лишь в XX в. Тем интереснее для нас внимание к Пушкину К. Маркса и Ф. Энгельса. Ф. Энгельс читал по-русски, и „Евгений Онегин“ был книгой, по которой он и Маркс учились русскому языку. В частности, им обоим очень понравилась та строфа „Евгения Онегина“, в которой говорится об Адаме Смите (1, VII). К. Маркс привел цитату из этой строфы в одном из примечаний своего труда „К критике политической экономии“. Экономическую прозорливость Пушкина Энгельс подчеркнул также в своем письме к Даниельсону (29 октября 1891 г.), сославшись на ту же цитату. Цитаты из Пушкина встречаются также в записях, тетрадях и других письмах Маркса, хранящихся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина в Москве.

Изучение Пушкина во Франции началось несколько позже, чем в Германии. Это объясняется особыми причинами: большое значение имели руссофобские настроения, ярко расцветшие во Франции между двумя революциями, в связи с полонофильством французской либеральной интеллигенции и той ненавистью к русскому самодержавию, которая, казалось, во Франции все возрастала, вплоть до самой Крымской войны. В тридцатых и сороковых годах русская литература не пользовалась во Франции большой популярностью; русских авторов переводили и анализировали, главным образом, для доказательства определенных политических истин, с целью

дискредитации самодержавного николаевского режима. В этом же смысле интерпретировался и Пушкин. История его трагической гибели была удобным поводом для того, чтобы поговорить об отношении русского правительства к русской литературе. Быть может, отсюда происходит именно тот повышенный интерес, который во Франции обнаружили к дуэли Пушкина и к великосветской интриге, против него направленной. Но дуэль скоро забылась, и интерес к творчеству Пушкина понемногу ослабевал. В начале сороковых годов нередко появляются более чем сдержанные отзывы или прямые признания о том, что творчество Пушкина не представляет интереса для французских читателей. В эти годы во Франции инициатива в деле ознакомления читателей с Пушкиным принадлежала русским или французам, долгое время прожившим в России: продолжал свою переводческую деятельность поэт Элим Мещерский, с помощью переводов которого Сен-Бев смог однажды процитировать два стихотворения Пушкина. Вышла антология графа Жильевкура со странным названием „Балалайка“ (1837), заключающая в себе много стихотворений Пушкина, но антология вызвала во Франции единодушное осуждение вследствие высказанных переводчиком в предисловии симпатий к русскому политическому режиму и своеобразным для француза «славянофильским» взглядом. Затем о Пушкине писали Шопен, Сен-Жюльен и другие.

Интереснее других суждений о Пушкине труды Ксавье Мармье, посетившего Россию еще в 1842 г. и много писавшего о ней вплоть до шестидесятых годов. В книгу Мармье „Письма о России“ (1843), — результат дорожных заметок и бесед во время его пребывания в России, — включен рассказ «поэта Пушкина» из практики барского произвола в России, который Н. О. Лернер находит возможным считать неосуществленным литературным замыслом Пушкина. Впрочем Мармье по-настоящему начал заниматься Пушкиным только в пятидесятых годах, когда им были переведены „Бахчисарайский фонтан“ и „Выстрел“. Напечатанная им в „Revue Britannique“ в 1859 г. статья „Пушкин и русская литература“ отмечена сильным влиянием Герцена, которого он много раз цитирует. Эти работы Мармье относятся уже к тому времени, когда началась пропаганда Пушкина во Франции Проспером Мериме.

Эжен Делакруа, один из крупнейших художников Франции, интересовался русской литературой и, в первую очередь, Пушкиным. Запись его дневника от 28 октября 1853 г. гласит, что в этот день Делакруа читал томик „Русских повестей“, в котором его внимание

обратила на себя новелла „Дубровский“, заставившая его пережить восхитительные минуты. Анализируя свои впечатления, Делакруа сделал несколько любопытных признаний и сопоставлений. Повести Пушкина, по его мнению, имеют «удивляющий реалистический аромат»; ему кажется, что он читает новеллы Мериме, так много сходного в манере двух писателей. Тонкое чутье помогло Делакруа высказать очень верное суждение. Повествовательное мастерство Мериме, с его отсутствием лиризма, сюжетной четкостью и замечательной чеканностью стиля, действительно напоминает прозу Пушкина. Вероятно, в этой близости их дарований и лежит секрет того увлечения, с которым Мериме до конца своей жизни относился к Пушкину. Чтобы читать Пушкина в подлиннике, Мериме выучил русский язык, который дался ему не без труда. В своих критических статьях, письмах и беседах с французскими писателями он неустанно славил Пушкина, как величайшего писателя XIX в. Имя Пушкина было для Мериме знаменем борьбы за художественный реализм и преодоление романтических традиций.

Увлечение Мериме русской литературой началось еще в тридцатых годах, благодаря ряду его русских знакомств и встреч, завязавшихся в Париже; особую роль сыграла в этом отношении его многолетняя и близкая дружба с приятелем Пушкина — С. А. Соболевским. Регулярно заниматься русским языком Мериме начал с половины сороковых годов. Вслед за „Пиковой дамой“ в 1852 г. Мериме переводит прозой „Цыган“ и „Гусара“, в 1856 г. — „Выстрел“ (любопытно, что автограф „Гусара“ Мериме получил от самого Пушкина через Соболевского еще в тридцатых годах). Существует мнение, высказанное еще Г. Брандесом и недавно подтвержденное французским биографом Мериме Трааром, что одна из популярнейших повестей Мериме „Кармен“ написана под заметным влиянием поэмы „Цыгане“. И действительно, образы Карменситы и Земфиры и простая, но захватывающая сюжетная линия обоих произведений о торжествующей и разрушительной стихии ничего не падающей страсти, открывают слишком много едва ли случайных совпадений.

В 1868 г. Мериме напечатал статью „Александр Пушкин“, в которой подвел итог своим многолетним раздумьям над русскими текстами Пушкина. Статья начинается сопоставлением Пушкина и Байрона: «Как тот, так и другой имели доминирующее значение в литературе своей родины. Несмотря на некоторый вред, принесенный им подражателями, следующие за ними поколения подтвердили суждения современников; слава обоих прочно установлена, и ни один кри-

тик не осмелился бы стереть их имена, занесенные на скрижали истории с именем величайших поэтов». Сразу чувствуется, что сопоставление Пушкина с Байроном, столь обычное для предшествующей европейской критики, в статье Мериме носит совершенно попутный характер. Мериме говорит не столько об их внутреннем родстве или различиях, сколько о равноценности обоих поэтов перед судом истории. Весь замысел статьи состоит прежде всего в том, чтобы поставить имя Пушкина в ряды величайших художников слова XIX в. Мериме, рассказывая о жизни Пушкина, излагает его отдельные произведения и сопровождает их тонкими замечаниями. Его похвалы достигают здесь предельной силы, на которую только был способен этот сдержанный и несколько холодный писатель. Пересказывая содержание „Анчара“, Мериме говорит о гениальном лаконизме Пушкина: «Рамка этого стихотворения узка, но картина вполне закончена и кажется мне полной изумительной величавости». Приведенный в статье полный перевод „Анчара“ не удовлетворяет Мериме. По его мнению, только на латинском языке можно было бы более или менее точно передать выразительную сжатость этих пушкинских стихов:

Но человека человек
 Послал к Анчару властным взглядом,
 И он послушно в путь потек
 И к утру возвратился с ядом.

«At vir virum misit ad antchar superbo vultu» и т. д.

Лаконизм, умение скупой использовать художественные средства вместе с огромной силой мысли, — таковы признаки мастерства, которые Мериме особенно ценил в Пушкине и к которым он неустанно стремился сам в своем творчестве. Данная им характеристика Пушкина становится вместе с тем и литературной программой Мериме, из которой легко извлечь все выдвинутые им обвинительные пункты против наследия французского романтизма. На основании своих многократных дружеских бесед с Мериме и его слов, эти обвинения удачно сформулировал И. С. Тургенев в своей речи о Пушкине в Москве в 1880 г.: «Ваша поэзия, сказал нам Мериме, известный французский писатель и поклонник Пушкина, которого он, не обинуясь, называл величайшим поэтом своей эпохи чуть ли не в присутствии самого Гюго, — ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если ко всему этому предстанет возможность не оскорблять

правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу)... «У Пушкина, — прибавляет он, — поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы». Тот же Мериме постоянно применял к Пушкину известное изречение «*Propter communia disce*», признавая этим за поэтом умение самобытно говорить общеизвестное, — за самую сущность поэзии, той поэзии, в которой примиряются идеальное и реальность. Он также сравнивал Пушкина с древними греками, по равномерности формы и содержанию образа и предмета, по отсутствию всяких лишних толкований и моральных выводов. Прочтя однажды „Анчар“, Мериме после конечного четверостишья заметил: «Всякий новейший поэт не удержался бы тут от комментариев». Мериме также восхищался способностью Пушкина вступать немедленно «*in medias res*», «брать быка за рога», как говорят французы, и указывал на его „Каменного гостя“, как на пример такого мастерства...

В те самые годы, когда Мериме именем Пушкина насаждал во Франции навыки особого «пушкинского» реализма, близким помощником его по пропаганде русского поэта сделался И. С. Тургенев. Он принял участие в переводах из Пушкина для издания Л. Виардо „Драматические поэмы Александра Пушкина“ (1862), в которое вошли „Борис Годунов“, „Русалка“ и все маленькие трагедии, кроме „Пира во время чумы“. Через год Тургенев опубликовал сделанный им совместно с тем же лицом прозаический перевод „Евгения Онегина“ (1868). Самым популярным из всех переводов Тургенева и Виардо явился их совместный перевод „Капитанской дочки“, выдержавший с 1854 по 1879 г. семь изданий. Когда в 1880 г. П. И. Бартенев опубликовал в „Русском архиве“ вновь найденные страницы этого пушкинского романа, Тургенев тотчас же позаботился о немедленном переводе их на французский язык и напечатал их с собственным предисловием. Тургенев постоянно истолковывал отдельные произведения Пушкина своим французским друзьям, призывая их в свидетели своего восторга и преклонения перед поэтом. Кто только из французских писателей не был вовлечен Тургеневым в круг бесед о Пушкине! В „Дневнике“ бр. Гонкур есть запись о Тургеневе (22 марта 1873 г.): «Он говорит, что когда он грустен, плохо настроен — ему довольно двадцати стихов Пушкина, чтобы вывести его из уныния, ободрить и возбудить; они внушают ему то восторженное умиление, которого он не испытывает ни от каких великих или великодушных дел». Трудно предположить, чтобы авторы дневника не попытались проверить на себе впе-

чатление столь любимого ими Тургенева. Роман, написанный Эдмондом Гонкур, „Les frères Jemganno“ (1879), убеждает в этом еще более. В начальных главах его дается образ цыганки Степаниды Рудак, которую звали русским уменьшительным именем Стеша. Герой романа, итальянец Томмазо, в своих странствованиях с цирком по Европе и Азии попадает в Севастополь, где увлекается Стешей и увозит ее из России. Трактовка образа Стеши-Этьениты несомненно выросла из пушкинской Земфиры: «цыганке чужды были взгляды, склонности, навыки ума, самый дух и вся внутренняя жизнь ее сожителей; она сама держалась в стороне, мечтательно углубляясь в самое себя, уходя мыслью в прошлое, благоговейно оберегая привычки, вкусы, верования, перешедшие к ней от ее таинственных далеких предков»... «В первые месяцы брачной жизни, когда мечта молодой женщины безраздельно стремилась к юноше собственного племени, — пишет Гонкур, — с уст Стеши-Этьениты то и дело срывалась эта песнь ее страны:

Старый муж, грозный муж.
Жги меня! Режь меня!
.
Ненавижу тебя.
Презираю тебя.
Я другого люблю,
Умираю любя».

Едва ли без помощи И. С. Тургенева Гонкур смог привести эту цитату.

Эмиль Золя, по словам И. Цивлювского, однажды рассказывал, что он видел, как Тургенев, бывая у Густава Флобера, много вечеров подряд трудился над переводом нескольких стихотворений Пушкина. Эти переводы, подправленные Флобером, были напечатаны в одном из журналов. Автографы переводов до сих пор хранятся в парижской части архива Тургенева.

Гюи де-Мопассана заинтересовал Пушкиным также Тургенев. Он рекомендовал ему в письме от 15 ноября 1880 г. по поводу намерения Мопассана написать для „Gaulois“ серию статей о великих иностранных писателях (это намерение осталось невыполненным): «Начните в России с Пушкина или Гоголя, в Англии — с Диккенса, в Германии — с Гёте». Эмиль Золя писал в письме от 7 июня 1899 г., адресованном русским писателям в дни пушкинского юбилея: «Я счастлив и горжусь тем, — писал Золя в этом письме, — что могу мысленно и от всего моего писательского сердца присоединиться к вам в этот

день, когда вы чувствуете гений вашего знаменитого Пушкина, отца современной русской литературы. Я узнал его в особенности через посредство моего великого друга, Тургенева, который часто говорил мне о славе Пушкина, о том, какой это был всеобъемлющий человек, какой превосходный поэт, глубокий и жизненный романист, друг свободы и прогресса, какой это был безупречный образец для ваших детей в искусстве писать и мыслить. И я полюбил его, как нужно любить все великие умы, национальное творчество которых составляет часть достояния всего человечества».

Вопрос о роли Пушкина в истории французской литературы нуждается в особом исследовании. Изучение влияния, которое он мог оказать на французских писателей, хотя бы и через посредство Мериме и Тургенева, явно стоит на очереди. В ожидании такого исследования, воздерживаясь от категорических выводов, нельзя не признать, что они обещают быть и очень важными и очень неожиданными. Можно предвидеть, что это влияние придется главным образом на последнюю четверть XIX в. — эпоху сильнейшего влияния новой русской литературы во Франции, т. е. Тургенева, Достоевского, Толстого и франко-русского „альянса“. Один из родоначальников этого «русского течения» во французской литературе — Э. М. де-Вогюэ — посвятил Пушкину несколько статей и не раз возвращался к идейной глубине и повествовательному мастерству поэта в своей книге „Русский роман“ (1886).

В этот период, включая и юбилейный 1899 г., Пушкина узнали и заинтересовались им, испытав на себе его влияние, едва ли не все наиболее крупные французские поэты, прозаики, критики и публицисты. Любопытно подчеркнуть, что среди повестей Пушкина, как и во времена Мериме, продолжала привлекать особое внимание французских литераторов „Пиковая дама“. Например, Марсель Прево считает, что Мопассан не остался без влияния автора „Пиковой дамы“; Л. Гроссман в одной из своих статей указал на возможный случай конкретного влияния этого шедевра пушкинской прозы во французской литературе. По его правдоподобной концепции „Пиковая дама“ пленила одного из таких тонких стилистов французской литературы XIX в., каким был Анри де-Ренье, в одной из новелл которого „Тайна графини Варвары“ «отчетливо проступают линии пушкинского сюжета». «Повесть Пушкина, — пишет Л. Гроссман, — упрощена у Ренье, итальянизирована подобно большинству его новелл и романов» и, тем не менее, «все элементы пушкинского сюжета здесь сохранены лишь с незначительными изменениями. Герой, скудные

средства которого не отвечают его положению и вожделениям, решает овладеть тайной чудесного обогащения, открытой старой графине знаменитым авантюристом XVIII в. В тот момент, когда он, прибегнув к угрозе револьвером, уже готов овладеть соблазнительной тайной, изображение старой графини оживает, чтобы поразить навсегда умственные способности страстного золотоискателя.

Подтверждением большого интереса к Пушкину во Франции в конце XIX и в начале XX вв. может служить большое количество откликов на пушкинский юбилей в 1899 г. В Россию прислали свои приветствия ко дню столетия со дня рождения Пушкина в числе других Жюль Верн, Б. М. де-Вогюэ, Марсель Прево, Франсуа Коппе и Жюльетта Адан (Ламбер), писательница и публицистка, столь деятельно содействовавшая укреплению «франко-русской дружбы»: «я фанатически люблю Пушкина, потому что он — полное выражение гения, — говорила она в своем письме. — Его плодовитость гениальна. В его форме — все гениально: оригинальность и верность наблюдения, блистательная ясность образов, чистая красота стиля»... Франсуа Коппе так отзывался о Пушкине: «Генрих Гейне остроумно заметил, что переводная поэзия — это лунный свет в тумане. Гений Пушкина из тех, которых не может затмить перевод. Франция знает и любит этого мощного лирика, русского Байрона».

Рост интереса к Пушкину в немецкой литературе конца XIX в. также не подлежит никакому сомнению. В немецкой Пушкиниане этого периода, кроме довольно большого количества переводов, с переменным успехом передающих пушкинские стихотворные и прозаические тексты, была обильна и критическая литература о нем, — от ученых работ «геллертерского» типа до легковесных критических набросков в периодической печати. Библиографически вся эта литература в основном известна, но изучение ее еще стоит на очереди. Любопытнее всего то, что в первое десятилетие XX в. в немецкой лирике и драме видны определенные следы пушкинского влияния. Как на пример можно сослаться на Райнера Мария Рильке, с его „Часословом“, многие нити которого ведут к Пушкину, или на «неоклассиков» типа Пауля Эрнста, своеобразно перетолковывавших „Бориса Годунова“, и, наконец, на поэтов школы Стефана Георга, среди которых Генрих Хейзелер может быть назван не только восторженным пушкинофилом, но вероятно, одним из лучших его немецких переводчиков.

Принято думать, и не без основания, что лишь в Англии, если говорить о важнейших литературах Европы, Пушкин оставался наиболее мало известен и чужд. И. С. Тургенев однажды говорил

Я. П. Полонскому о том, что для англичан стихи Пушкина были совершенно недоступны. В один из своих приездов в Англию И. С. Тургенев бывал у Теккерея, создателя „Ярмарки тщеславия“. «Раз Теккерей упросил меня прочесть ему что-нибудь по-русски, — рассказывал Тургенев Я. П. Полонскому. — Я стал наизусть читать ему одно из самых музыкальных по стиху произведений Пушкина, и что же? Не успел я и десяти стихов прочесть, как Теккерей покатылся от неудержимого смеха. Так стал хохотать, что сконфузил дочерей своих. Звуки чужого языка были для него смешны».

Но этот пример не типичен. Русский язык, действительно, не пользовался в Англии этого времени большим распространением, но среди англичан были тогда и малочисленные настоящие его ценители и знатоки (Рольстон), довольно бойко и верно переводившие даже Кольцова и Крылова. Тот же Тургенев в письме к П. В. Анненкову (1881) рассказывал, как ему показывали в Англии «перевод» „Онегина“, сделанный английскими рифмованными стихами, — «верности невероятной, изумительной», но, — прибавляет он, — «и такой же изумительной дубинности»... Качество английских переводов Пушкина в XIX в. было действительно невысоким, но тем не менее его переводили, и английская критика отдавала ему должное. Е. Осборн в своей статье о первых английских переводах из Пушкина насчитывает около пятнадцати переводов, вышедших отдельными изданиями на английском языке до 1900 г. На самом деле их было много больше. Осборном забыты многочисленные журнальные публикации, антологии русской поэзии, книги и статьи, вышедшие на английском языке за пределами Англии и США, и т. д. Критическая литература о Пушкине на английском языке также не очень бедна, как это может показаться с первого взгляда: не забудем, что один из ранних английских почитателей Пушкина был Карлейль. В 1880 г. официальным письмом на имя И. С. Тургенева на пушкинский праздник в Москве (одновременно с В. Гюго и Ауербахом) откликнулся Альфред Теннисон.

В других странах Западной Европы Пушкин был также достаточно известен. Так, например, в Испании, кроме ряда переводов, существует с начала семидесятых годов и критическая литература о Пушкине. Так, Эмилио Кастеляр, государственный деятель и публицист второй половины XIX в., историк и поэт, своими статьями и речами о Пушкине вызвал такой большой интерес к поэту, что они удостоились перевода в отрывках и на итальянский язык и вышли отдельной брошюрой во Флоренции. В этих статьях Кастеляр говорит о „Евге-

нии Онегине“ в самых восторженных выражениях. В 1887 г. писательница Эмилия Пардо Басан читала в мадридском „Атенео“ лекции о русской литературе, в которых не мало уделила внимания и Пушкину. Пардо Басан говорила, что она причисляет великого русского поэта к виднейшим писателям Европы, сопоставляя его с Байроном, Мюссе и Хозе Эспронседой. Эти лекции испанской писательницы в английском переводе вышли и в Америке.

Не менее славным было имя Пушкина в демократических кругах итальянской литературы конца XIX в. Как задушевно звучит признание одного из итальянских писателей этого времени, Антонио Фогаццаро: «Еще совсем мальчиком, — пишет он из Виченцы, — я полюбил Пушкина за изящество, простоту и трогательную грусть одного из его рассказов, при чтении которого я впервые испытал обаяние русского Востока, отдаленного, необъятного и таинственного».

Диапазон пушкинского влияния очень велик. Мы знаем сейчас, какую роль творчество Пушкина играло в литературе румынской, особенно в творчестве Донича и К. Негруцци, и знаем, как велико было его значение в литературах южно- и западнославянских, например в чешской, где с переводов Ф. Л. Челяковского (1832—1837) начинается длинная цепь перепевов и подражаний Пушкину, например, вроде стихотворного романа Г. Пфлегра-Моравского „Пан Вышинский“ (1858), написанного под влиянием „Евгения Онегина“, или в работах В. И. Ягича, И. Приятеля, И. Д. Шишманова, И. Врунева и т. д., в которых также не мало убедительных примеров влияний Пушкина, затем в литературах Хорватской (Станко Враз, Д. Деметр), болгарской (Ив. Вазов), словенской и др.

Но все эти данные далеко не исчерпаны исследователями и нуждаются в новой научной разработке. Однако уже и сейчас, в ожидании завершения такой работы, мы предвидим ее важнейший вывод, — роль и значение Пушкина в литературах Запада явно преуменьшена пушкиноведением. Писатели XIX в. давно уже признали в нем не только крупнейшего мастера русского художественного слова, но и встретили его, как равного, в своем европейском Пантеоне. В такой оценке Пушкина сошлись Гёте и Гюго, Ламартин и Манцони, Мериме и Гонкур, Карлейль и Теннисон, несмотря на все различия их творческих манер и вкусов, идеологических и стилистических тенденций. И пусть, по условиям исторического развития, ознакомление их с Пушкиным не было достаточно полным, пусть многие из них знали его лишь по бледным искажающим переводам, но и этот его пре-

ломленный и затуманенный свет озарял этих деятелей слова и мысли, пребывавших во всех углах Европы. Мы знаем, что пушкинское влияние на Западе продолжается, больше того, — оно крепнет и растет. Со всех концов мира доносятся к нам сейчас известия о том, с каким восхищением всюду произносится имя Пушкина, как торжественно проходят пушкинские юбилейные дни для всех тех, кому дорог Советский Союз, кому дорог и светел величайший поэт русского народа. Они восполняют свои знания о нем в дни великой годовщины, они вместе с нами склонят перед ним свои головы. Мы твердо знаем, что лишь став поэтом *всех* народов Советского Союза, Пушкин стал поэтом мировым в полном значении этого слова.



АКАДЕМИЯ НАУК
СССР

СТО ЛЕТ
СО ДНЯ СМЕРТИ
А.С. ПУШКИНА

ТРУДЫ
ПУШКИНСКОЙ СЕССИИ
АКАДЕМИИ НАУК
СССР

1837 — 1937

Издательство Академии Наук СССР
Москва-Ленинград

1 9 3 8